

К 100-летию ухода и кончины Льва Толстого

## Венок на могилу Льва Толстого

Богослов, публицист, прозаик и драматург Валентин Павлович Свенцицкий (1881–1931), в отличие от своих друзей И. А. Беневского и В. Г. Кристи, а также близких по духу М. А. Новоселова и П. А. Флоренского, никогда не был увлечен учением Л. Н. Толстого. Наоборот, последовательно критиковал его религию с позиции вселенского христианства. Дал ей подробную характеристику в лекциях, прочитанных весной 1907 г. в Вольном богословском университете при Московском религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьёва, одним из основателей которого являлся. По итогам выступлений были опубликованы три статьи: “Лев Толстой и Вл. Соловьёв”, “Религия “здорового смысла” и “Положительное значение Льва Толстого”.

В них Свенцицкий указал, что Толстой не в силах дать ответ на все центральные религиозные вопросы: о происхождении мира и зла, о религиозном смысле материи и страданий; не решает он и вопросы о существовании Бога и смысле жизни, напротив, утверждает, что это “принципиально невозможно для человеческого разума”. Таким образом, “именно со стороны логической внешнее “опрошение” создает затруднения гораздо более страшные для ума, чем то, что оно отбрасывает как слишком трудное”. Свенцицкий пророчески предупреждал: “Через несколько лет... в широкие массы хлынет обильная атеистическая литература... перед сознанием народа будут поставлены новые, неведомые ему вопросы и будут предложены новые, чуждые ему и страшные для него решения”. И этому не сможет противостоять “упрощенное” христианство Толстого, поскольку “ни на один из главнейших вопросов религиозного сознания не дает настоящего ответа”.

Вскрыв внутренние противоречия, из которых состоит “разумная религия Толстого”, Свенцицкий на его примере показал, “во что превращается христианство, лишённое Христа”, обличал подмену величайшей религии беспочвенным моральным построением. Хотя Толстой “любит настоящего Бога... но учит бездушному идолу, отвлеченной идее блага... невольно создавая толстовцев-идолопоклонников”. Их мораль Свенцицкий не считал христианской, “которая вся проникнута началом действительной любви”. Логика непротивленства приводит к абсурду: “Насилием придется признать всякое активное проявление любви, всякое публичное высказывание своего мнения, и человеческая жизнь превратится в мертвую, бездушную нирвану”. Отсюда следовал неумолимый вывод: “Отрицание насилия в общей форме не может быть провозглашено как безусловное требование христианства”.

Тем не менее, для Свенцицкого Толстой – “громадное мировое явление”, “величайший русский мыслитель”, восставший против неправды жизни “оскотинившихся людей” и дающий “чрезвычайно много в религиозном отношении”. Несмотря на все несходство мировоззрений, перечитывая его сочинения, чувствовал общность религиозного опыта: “Он передает такую глубину переживаний, до которой сам я дойти бы не мог... передает мне свою любовь, настоящую любовь... помогает мне ощутить высший смысл жизни с совершенно исключительной силой”. Но чтобы вместе с ним воистину все это пережить, “необходимо самое строгое отношение, самая беспощадная критика его теоретических, головных схем”.

Полагая, что “существенная сторона в его учении – несоответствие переживаний с теми теоретическими рамками, в которые они заключены<sup>2</sup>, – очень важна и для полного разграничения Толстого и толстовства”, Свенцицкий по-

святил их сравнению значительную часть лекций. Он доказывал: “Пренебрежение к философии, “упрощение” Истины у Толстого искуплено внутренней силой морального и религиозного чувства – в толстовстве это превращается в культ невежества. ... За непотворением Толстого стоит пламенная душа его самого, пылкая, страстная, способная на гигантский протест, способная изумлять Европу беспощадностью, безумной дерзостью своего вызова. ... В толстовстве остается одно непотворенство, одно бессильное, ненужное, жалкое отрицание культуры”. Это общественное явление Свенцицкий считал отрицательным результатом деятельности Толстого, “накипью”, “собранием уродливых сторон его духовной личности”, от которого ему “с ужасом придется отвернуться”. Категорически не соглашался с мнением, что “при свободе печати Толстой, по крайней мере на некоторое время, займет все внимание большинства русского народа”, поскольку был глубоко убежден: “Толстой в своей вере не народен, и потому, когда народ его действительно узнает, он за ним не пойдет”<sup>3</sup>. И это сбылось.

Среди исторических заслуг Толстого в области религиозного сознания Свенцицкий выделял основную. “В XX веке образованный и гениальный человек заявил... что одна только религия может дать действительное знание... потребовал отчета у так называемых передовых людей, чему они учат и что они знают... с небывалой силой поставил перед сознанием культурного человечества во всей глубине и неизбежности религиозную проблему. Заслуга Толстого не в том, как он ее решил, а в той силе, с которой он ее поставил”.

Свенцицкий считал, что в Толстом-моралисте раскрывается главная мощь его гения, и “здесь он подлинный Божий пророк”: своими вопросами “зачем люди живут? как они живут?” он сорвал разукрашенные одежды с человеческой совести, встряхнул загнипнотизированное самодовольное сознание атеистов.

Указывал Свенцицкий и на значение Толстого в судьбах Церкви. По его мнению, он не разрушил христианской догматики, поскольку со слитками самой сути религиозно-философского содержания религии не так-то легко покончить с помощью простого здравого смысла. Но “застывшая религиозная жизнь, превращающая догмат из живых подвижных творческих начал в мертвые и сухие, почти бессодержательные слова... получила от Толстого мощный толчок”. Что же касается практики жизни, то “Толстой, отвернувшийся от Церкви в значительной степени благодаря ее позорному современному состоянию, выстрадал себе право безжалостно обличать и духовенство, и называющих себя христианами. Пусть он не прав в своей критике церковного учения, но он страшно прав в своих обличениях ее безобразной жизни”.

Тогдашняя государственная власть сочла это “богоулением и кощунством”. За напечатание статьи “Положительное значение Льва Толстого” Московский комитет по делам печати просил прокурора возбудить судебное преследование против редактора-издателя журнала “Живая Жизнь”, а московский генерал-губернатор наложил на издание арест. Лишь спустя несколько месяцев дело было прекращено после трезвого суждения члена Главного управления по делам печати М. Никольского: “Быть может, в этом взгляде ревнители православного учения найдут нечто критическое, но ни один человек, если он только не фанатик, не найдет и тени богохульства”<sup>4</sup>.

Считая литературу “великим средством для общения людей”<sup>5</sup>, Свенцицкий высоко ценил художественное творчество Толстого, отмечал его среди многих русских писателей-“идеалистов”, кто “без всякой лжи и умалчивания раскрывал... человеческую душу со всей ее сложностью... в романах и повестях передал всю ту громадную работу, которую совершил их дух”, для кого “творчество было их подлинной жизнью”<sup>6</sup>. По мнению Свенцицкого, Толстой-художник дал синтез всего того, что впоследствии говорил Толстой-мыслитель, и сделал это с не меньшей силой, но не обличая, а, как в случае со смертной казнью, показывая весь ее внутренний ужас. Полностью разделяя здесь его взгляды, Свенцицкий утверждал, что в одном абзаце из “Войны и мира”, описывающем перемену в Пьере Безухове после сцены расстрела, “итог всего сказанного Толстым о смертной казни за всю жизнь”<sup>7</sup>.

К сожалению, так и не состоялось личное знакомство двух писателей-проповедников (именно так величали их современники<sup>8</sup>). Свои мотивы Свенцицкий изложил в очерке “В Ясной Поляне”, нежелание же Толстого завязать общение со слишком молодым для серьезного разговора (по его понятию) последователем В. С. Соловьева объяснялось следующими причинами.

Д. П. Маковицкий в дневнике 9 августа 1909 г. записал: “Дмитрий Васильевич говорил про Свенцицкого... речи которого на религиозную тему он слышал, что сам он не верит. Л. Н.: Ужасно: религия – тема для сочинений, – добавил задумчиво”<sup>9</sup>. Давая столь несправедливую характеристику, Д. В. Никитин основывался на романе-исповеди Свенцицкого “Антихрист (Записки странного человека)”, как и многие читатели, отождествляя автора с персонажем (это подтолкнуло Свенцицкого снабдить 2-е издание поясняющим послесловием). Толстой же с книгой не ознакомился: присланный 25 декабря 1907 г. экземпляр 1-го издания с дарственной надписью “Льву Николаевичу Толстому в знак братской любви и глубокой благодарности” (хранится в библиотеке Ясной Поляны) поручил прочесть Маковицкому<sup>10</sup>, а написать ответное письмо, несмотря на уговоры секретаря, отказался после того, как узнал, насколько резко автор отзывался о его учении. 14 января 1908 г. от вопроса И. А. Беневского об “Антихристе” Толстой отделался общими фразами<sup>11</sup>.

Толстовская тема затрагивалась Свенцицким во многих художественных произведениях. Так, главный герой его автобиографической драмы “Пастор Реллинг” (1909) произносит речь, посвященную юбилею некоего “мыслителя, художника, богослова, публициста”, которому у него “есть душевная потребность отдать дань уважения”. Пастор говорит о нем “как о пророке свободной правды и обличителе всякой лжи... выразителе мировой совести”, преклоняясь “перед силой его правдивости”; напоминает, что “великий человек, мировой гений, страдалец и праведник... как сказочный богатырь, сорвал подлую маску с изолгавшихся людей”. Речь насыщена аллюзиями на трактат “О жизни” (1888) и другие работы Толстого, а завершается мощнейшим пассажем: “И что бы он ни говорил, что бы ни писал, хотя это было десятки лет тому назад, из его могилы, как властный удар колокола, несется один великий завет: не лгите, не лгите, не лгите!”<sup>12</sup>

По словам критика, гвоздем пьесы Свенцицкого “Интеллигенция” (1912) был финал, напоминающий предсмертный уход Толстого из дома<sup>13</sup>. Прослеживаются в ней и другие параллели: например, в разговоре о потере образованным обществом самой способности верить и необходимости слиться с верой народной также есть скрытые толстовские цитаты, а один из персонажей, споря, восклицает: “Лучше разврат... чем домовых бояться да пудовые свечи ставить”<sup>14</sup>. Любопытно, что схожего мнения придерживался и Толстой: “Если мальчик ходит по скверным местам и кутит, то больше шансов, что он выберется, чем если он берется рассуждать о Боге”<sup>15</sup>.

Уже будучи иереем и проповедником Добровольческой армии, о. Валентин назвал Толстого “одним из самых опасных врагов Христианской Церкви” и указал тому две причины: абсолютная искренность в ошибках и переплетение антихристианских его заблуждений в области теоретической и нравственной с подлинно христианскими писаниями. “В результате истина покоряет сердце, а вместе с истиной неподготовленными людьми жадно воспринимается лживое, “упрощенное” Евангелие от Толстого, опустошающее душу, отрывающее верующих от Христианской Церкви”. Толстовские же ученики, которым “он не мог передать своего сердца, своей совести, своего гения”, но передал учение, отвергающее Божественность Христа и Церковь с ее таинствами, – искажают христианство по духу, по внутреннему живому смыслу, “как искажают живого человека восковые фигуры в музеях”. Они “вынули из Христа Его Божественную силу... подменили Его сожигающую огнем проповедь сантиментальными словами о “непротивлении злу” и великое дело – спасение мира на Голгофе – свели к простому убийству хорошего человека за то, что он проповедовал целомудрие и вегетарианство!” Отец Валентин справедливо указывал, что “Христос, который изображается как толстовец... распятый и затем, как все... сгнивший, – это не наш, не христианский, не православный Христос”<sup>16</sup>.

Отношение Толстого к войне о. Валентин определял как “упрямое ослепление”, доказывая: “Нельзя же “отписываться”: если не поднял оружия – значит, не убил! Нет, убил – если не защитил! Убил как соучастник. Убил своим попустительством. На войне решается вопрос... чью кровь пролить: злодея или невинного. Христианину приходится на войне выбирать из двух зол меньшее. И если он скажет: “Не могу убивать ни правого, ни виноватого”, – в лучшем случае это будет самообман, в худшем – сознательное лицемерие”<sup>17</sup>.

Впоследствии эти идеи легли в основу работы И. А. Ильина “О сопротивлении злу силою” (1925), где он поставил тот же вопрос и пришел к тому же

итогу, что и Свенцицкий в статьях “Христианское отношение к власти и насилию” (1906) и “Война и Церковь” (1919). Тожественны здесь и ход рассуждения, и основные формулировки, и критика сентиментального непротивленчества, и заключительные выводы. В частности, исследуя генезис толстовства, о. Валентин писал: “Живое чувство любви встречает на пути своего возрастания непреодолимые препятствия в злой, греховной нашей природе и в злой, греховной окружающей нас среде, представляющей из себя “собирательное зло”, накапливавшееся веками”<sup>18</sup>. Эти темы подробно освещаются Ильиным в главах “О границах любви” и “О связанности людей в добре и зле”. Их названия красноречиво свидетельствуют о сходном смысле, а при обстоятельном анализе выясняется, что это лишь детальное раскрытие тезисов Свенцицкого<sup>19</sup>.

Духовная разница между двумя мыслителями определялась тем, что один так до смерти и остался “взыскующим града”<sup>20</sup>, а другой уже в молодости его нашел<sup>21</sup>. Диалектика же восприятия “паладином Церкви”<sup>22</sup> личности отлученного от нее великого писателя укладывается в простую формулу: “С Толстым можно не соглашаться, но его нельзя не уважать, нельзя не любить”<sup>23</sup>. Вот это и было главным в отношении к нему Свенцицкого – братская, христианская любовь. И с наибольшей силой она выразилась в публикуемом далее цикле очерков, ранее не переиздававшихся и неизвестных даже специалистам. Это воспоминания о посещении Ясной Поляны, беседах с Александрой Львовной, Маковицким, Шмидт и описание реакции общества на события осени 1910 г. Уникальные свидетельства, осмысление последних поступков Толстого и анализ его роли в нашей жизни особенно актуальны в преддверии 100-летней годовщины упокоения.

Публикация, послесловие и комментарии **С. В. Черткова**

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 2. М., 2010. С. 324–360.
- 2 Спустя 5 лет это наблюдение теми же словами повторил Н. А. Бердяев, и хотя прекрасно знал о статьях Свенцицкого, утверждал, что работа Д. С. Мережковского “остаётся единственной для оценки религии Толстого” (Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000. С. 244).
- 3 Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 2. М., 2010. С. 418.
- 4 Цит. по: Колеров М. Не мир, но меч. СПб, 1996. С. 273–274.
- 5 Свенцицкий В. Они больше не верят... // Московская газета-копейка. 1911. 13 февраля. № 35.
- 6 Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 2. М., 2010. С. 124.
- 7 Свенцицкий В. Лев Толстой и смертная казнь // Новая Земля. 1910. № 10. С. 4–5.
- 8 Напр.: Лисовский А. Смерть Ивана Ильича // Русское богатство. 1888. № 1. С. 181; Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 1. М., 2008. С. 67.
- 9 Литературное наследство. Т. 90. Кн. 4. С. 35.
- 10 Там же. Кн. 2. С. 599.
- 11 Гусев Н. Два года с Толстым. М., 1973. С. 70, 85.
- 12 Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 1. М., 2008. С. 282–285.
- 13 В. Ю. Б. // Новое время. Иллюстр. Прилож. 1912. 7 апреля. № 955. С. 10.
- 14 Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 1. М., 2008. С. 417.
- 15 Гусев Н. Два года с Толстым. М., 1973. С. 70.
- 16 Свенцицкий В., прот. ПСТГУ. М., 2010. (нач. и до кон. гл. 2, гл. 10 ВиЦ).
- 17 Валентин Свенцицкий, свящ. Общее положение России и задачи Добровольческой армии // Белая гвардия. 2008. № 10. С. 183.
- 18 Свенцицкий В., прот. ПСТГУ. М., 2010 (нач. гл. 2).
- 19 Подр. см.: Чертков С. В. П. Свенцицкий, его последователи и эпигоны (И. А. Ильин, Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев) // Философия и культура. 2010. № 5. С. 102–114.
- 20 Кони А. Избранное. М., 1989. С. 206; Вересаев В. Художник жизни (О Льве Толстом) // Красная новь. 1921. № 4. С. 239.
- 21 “В литературе не принято объявлять себя нашедшими истину, традиция требует от всякого роли идущего к истине. ... Мы нашли, потому что мы христиане.

Святой Град открылся нам... и никогда уже более мы не уйдем из него искать новый. В этом смысле нам ведомо счастье, радость, покой, которых не знают зыскующие” (Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 2. М., 2010. С. 134–135).

22 Выражение Н. Н. Русова из статьи “О. Валентин Свенцицкий” (Накануне. 1922. 3 сентября. № 124).

23 Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 2. М., 2010. С. 338.

## о. ВАЛЕНТИН СВЕНЦИЦКИЙ

# КУДА УЕХАЛ ЛЕВ ТОЛСТОЙ?

Мое “Письмо о вегетарианской любви” было уже написано<sup>2</sup>, когда я прочел телеграмму, что Толстой уехал из Ясной Поляны.

“Лев Толстой 28 октября велел заложить лошадей и вместе с доктором Маковецким уехал в Шокино, откуда по железной дороге отправился на юг. В оставленной на имя жены записке Толстой пишет, что его тяготит обстановка жизни, просит не делать попыток отыскивать его, трогательно прощается с своим семейством и говорит, что как чистый христианин он должен жить в мире и ни в каком случае не вернется. Местопребывание Толстого неизвестно”.

Куда уехал Толстой? И от чего он уехал?

Толстой уехал, убежал прочь от той лжи, которая мучила его, начиная с того дня, когда он допустил в основу своей “новой жизни” компромисс, слабость, уступку, отравлявшую каждый день, каждый час долгие годы его религиозной проповеди.

Об этой лжи или говорили злобно, и потому несправедливо, или молчали вовсе. Молчали, одни из рабского “благоговения” перед великим человеком, другие – из целомудренного, бережного отношения к его греху.

Теперь об этой лжи можно и должно сказать открыто.

Толстой провозгласил учение, в корне отрицающее все основы нашей современной жизни: собственность, деньги, суд, насилие, войска, власть, войны и пр. и пр. и пр.

Исповедание на деле, а не на словах этого учения логически несовместимо с прежней формой не только семейной, но просто сколько-нибудь “культурной” жизни. Но, уступая семье, привычке, подчиняясь слабости, жалости и другим “человеческим” чувствам, Толстой захотел сохранить все по-прежнему. В результате “реформа” могла коснуться только одежды и обуви, и начался длинный ряд мучительных компромиссов. То, что делалось по-“толстовски”, или не доделывалось, или касалось мелочей: в результате получилась паутина, которая связывала Льва Толстого крепче железных цепей.

Так, Толстой отказался от собственности. Но это был странный отказ. Он не был проведен до конца, со всей искренностью, с безусловной последовательностью. Ведь собственность, которую человек перестает считать своей, в тот же момент перестает быть его собственностью. И потому ясно, что Толстой, отказывавшийся от своего имущества потому, что перестал его считать своим, не мог передавать его, ибо акт передачи есть уже действие собственника. Но вещь, которая для него была уже не его, передана быть не могла. Вещь “чужую” не передают.

Толстой остался жить в имении своей жены. Правда, он пахал, шил сапоги, рубил дрова. Но он ездил на велосипеде и по железной дороге и пр. и пр. А это все требовало денег, и ему приходилось пользоваться тем же имуществом

вом, которое он передал жене. Он жил в маленькой комнате, но лакеи подавали ему кашу в серебряных мисках. Одна ложка тянула за собой другую, один компромисс порождал другой – и в конце концов нельзя было разобрать, где кончается ложь и начинается правда.

“Известный толстовец” Бирюков<sup>3</sup> на втором томе своей биографии Толстого сделал неприличнейшее посвящение графине Софье Андреевне Толстой. Он сравнивает ее с солнцем и посвящает ей книгу, в благодарность за то, что она заботливо охраняла Толстого.

Между тем именно она была главной виновницей той лжи, в которой задышался Толстой.

Вместо того чтобы поддержать его на новом пути жизни и помочь жить по-новому, она, пользуясь нерешительностью, слабостью и недостатком сил у Толстого для коренной и окончательной ломки, – вынудила его вступить на путь компромиссов.

Толстой прежде всего бежал от этой семейной лжи. Лжи своего покоя, уютной жизни, довольства, сытого и мирного существования.

Но не от этого только.

В “Письме о вегетарианской любви” я говорю о разнице между Толстым и толстовством. И теперь утверждаю это с удвоенной силой:

Толстой бежал от толстовства.

Он бежал от своих “кардиналов”, от этих господ, расхаживающих босиком в своих дворянских имениях. Они усвоили из всей его великой жизни только одну телесную сторону компромиссов. Лишенные его сердца, его гения, его жажды правды и его живой души, – они отразили образ Толстого в кривом зеркале, и получилась страшная карикатура.

*Толстой с ужасом бежал от этой карикатуры на самого себя.*

Куда же бежал Толстой? Куда бы ни бежал он: в Курск, Киев, Харьков – это безразлично: он бежал от пустых слов – к живой жизни. От лжи – к правде. От смерти – к воскресению.

Может быть, жизнь его выльется в такие формы, которым мы сочувствовать не будем. Но во всяком случае – это уже будет действие, не слова, а дела. Тут целый переворот. Тут человек перешагнул через бездонную пропасть, ибо слово и дело у Толстого были отделены друг от друга бездонной пропастью лжи и подделок.

Толстой во всяком случае начинает новую жизнь. Новая жизнь его является прежде всего великим творческим актом человеческого духа, и если вспомнить, что свершает этот акт восьмидесятидвухлетний старец – пред ним хочется преклониться с благоговением. Легко судить и бросать в человека грязью: и правы были те, кто ждал это делать – хотя жизнь Толстого давала сколько угодно материала для того, чтобы в него бросать камнями.

Пока жизнь человеческая не кончилась, никто не вправе выносить над ней своего обвинительного приговора в окончательной форме.

Когда Толстой в статье “Не могу молчать” писал, что я больше так жить не могу и не буду, – то “не буду” многим показалось “фразой”, и в этом числе мне<sup>4</sup>.

Но очевидно, Толстой имел право сказать так.

Громадное большинство людей живут “без перемен” не потому, что они находят твердый, не колеблющийся фундамент, а потому, что они “устают искать” и “засыпают” на первом попавшемся “сухом месте”. Толстой велик прежде всего этой неусыпной жаждой совершенства.

И если его отъезд есть начало такой жизнедеятельности, которую мы по существу будем считать ошибочной, – все же “бегство Толстого” будет великим делом уже по одному тому, что этим фактом он с новой пророческой силой провозглашает истину, что начинать новую жизнь никогда не поздно. Ибо для духа человеческого нет ни времен, ни сроков.

### Смерть и бессмертие<sup>5</sup>

Весть о смерти Льва Толстого застала меня далеко от Москвы, далеко от той “культурной” атмосферы, в которой невольно подчиняешься общему тону, заражаешься теми привычными “общеобязательными” формами “сочувствия”, в которые выливаются “культурные” переживания в событиях, подобных смерти Толстого.

И может быть, потому именно эта смерть дала лично мне столько очищающего, нового, о чем нельзя и не нужно говорить...

Но было нечто во всем пережитом такое, что касается одной из величайших проблем человеческого духа, и говорить о нем хочется особенно потому, что я не знаю, чем можно более достойно почтить память Толстого, как не размышлением об этих вопросах.

Я говорю о бессмертии.

Отъезд Толстого из Ясной Поляны, посещение Оптинской пустыни, болезнь и смерть его — обо всем этом каждый день читалось в газетах и в нашей, здешней глуши.

Но кругом не было нервной, в существе своем лживой столичной суеты. И все, что пробуждали события в душе, оставалось как бы с глаза на глаз, лицом к лицу с твоей совестью.

И странно, что внешние впечатления, которые в нездоровой атмосфере столичных “улиц” только искажают и рассеивают подлинное чувство, — здесь, напротив, каким-то таинственным путем связывались с тем главным, что безраздельно владело душой, — с болезнью Толстого.

Особенно ясно почувствовал я эту связь на берегу Волги.

Мы хотели ехать за Волгу, пошли на берег, к лодке. Было холодно, ветерно. Ехать оказалось невозможным. Сели на бревна около воды.

Какою странной казалась река: темно-серая, холодная, гулкая. У берега большая темная баржа, на том берегу песок и черный лес. И облака серые, и все такое свинцовое, тяжелое...

Я не думал о Толстом. Но все время чувствовал, что мыслью о нем полна душа. И что холодная черная Волга имеет с мыслью о нем какую-то связь. И что, глядя на сердитые, стальные волны, совсем не жутко, не тоскливо. Что в сердце растет новая, большая радость...

Да, болеет. Да, страдает. Может быть, умрет. И все-таки радость. Новая, неожиданная. От которой не то смеяться хочется, не то плакать. Но, во всяком случае, от которой хорошо как никогда...

Ветер дует верховый. Холодный, острый... Злится.

Но теперь все радуется, и холод, и ветер, — все.

Рядом со мной сидит племянница, я зову ее Верашей-неразумницей. Она все шалит. И мешает “думать”.

А на душе такое счастье.

Это любовь. Маленькая, чуть заметная частичка любви. Не к кому-нибудь, а ко всем.

Любовь от него. От того, кто там лежит. И за него не страшно. Потому что то, что в нем, — это настоящее. Выше всего земного, вечное. Бессмертное...

Вечером “из города” привезли известие:

— Умер.

Пошли узнать по телефону “на завод”: может быть, опять ложный слух. Может быть, ошибка.

Вернулись через полчаса:

— Нет, правда. Умер... Спрашивали по телефону в редакции. Получена телеграмма...

Смерть Толстого произвела впечатление совершенно исключительное. Беспримерное. Здесь речь не о силе впечатления, а о самом его качестве.

В смерти Толстого человечество пережило ощущение бессмертия.

Ощущение это до того сложно, до того ново, до того всех застало “врасплох”, что его долго не в силах будут “осмыслить”.

Толстой умер.

Но это слово “умер” не отдавалось в душе той глупой, тяжелой болью, которой отдается всегда слово “смерть”, когда умирают близкие, дорогие люди.

Скорей была почти радость. Но радость не “веселая”, а торжественная.

Хотелось плакать. И многие по-настоящему плакали. Но и слезы были особенные. Без горечи, без того особого чувства, в основе которого заложено сознание “конца”, “бесповоротности”. — Умер. Конец. Больше никогда не вернется. И никто ничем не может это изменить.

Не было этого.

Слезы, которыми плакали люди в эту ночь, были скорей от восторга, от неосознанного умиления.

Вся сложность переживаний, вся неожиданность их заключалась именно в том, что люди, чудом каким-то, сами того не сознавая, пережили челове-

ческую смерть именно так, как должны переживать всегда: без ужаса, без боли, без отчаяния — как таинственный переход к вечной жизни. Поверили душой, а не мозгом, в эту жизнь. И умилились, растрогались. “Ожили сами”.

Смерть Толстого свершила чудо.

Она пробудила в людских сердцах веру. Она затронула что-то такое сокровенное, самую основу бессмертного нашего духа — и мы на несколько мгновений как бы *сознали* свое бессмертие.

Люди обычно не переживают так смерть потому, что обычно бессмертный дух человеческий слишком заслонен от нас мертвой оболочкой тления.

Толстой же смертью поднялся на высочайшую ступень духовной жизни. Он облекся в красоту *нетленную*. Его личность еще при жизни как бы освободилась от всего суетного, временного, подверженного разложению, уничтожению. Оставалась лишь какая-то неуловимая нить, связывающая его с жизнью земной, видимой, конечной.

Вот почему, когда эта нить оборвалась, как будто бы ничто “не изменилось”.

Толстой точно остался жить. Ибо он для нас остался все таким же, как и до болезни в Астапове. Каким он встал перед нами после своего ночного отъезда из Ясной Поляны.

Таким же: бессмертным, духовным, ослепительным...

Когда люди во всех концах мира читали бюллетени о его здоровье, — о том, что температура 38,2, а пульс 120, а дыхание столько-то, — читали каждый день, следили за ходом болезни, за каждым ее шагом, — они в это время вместе с Толстым переживали медленный переход от жизни конечной к жизни иной, бессмертной. Оборвалось его дыхание. Перестало биться сердце, бессмертное “я” человеческое перешло к новой, высшей форме бытия, — и *продолжение жизни* было так “очевидно”, переход был так тих, так незаметен, так мало изменял по существу то, что мы называли “Львом Толстым”, — что все верующие и неверующие невольно продолжали жить с Толстым и дальше. Не отдавая себе отчета, как и почему, не облекая своих чувств в сознательное предствление, — в сокровенных глубинах сердца все почувствовали вечное бессмертное “*продолжающееся*” бытие Толстого.

Вот источник той особой радости, того умиления, которое пережил за эти дни весь мир.

Толстой был *религиозный гений*. Ему было в величайшей степени дано это ощущение иного мира<sup>6</sup>. Недаром сам он рассказывал, как до реальности ясно ощущал Божество и мог простаивать в лесу часами, отдаваясь этому ощущению.

Но Толстой был еще и *гениальный художник*, и потому он сумел рассказать об этом другим людям. И действительно, читая те сочинения Толстого, в которых он говорит о человеческой душе, как о частице Бога, мировой любви, о том, как со смертью душа снова возвращается к Богу и соединяется с своим первоисточником, — нельзя ему *не верить*. С такой осязательной ясностью, почерпнутой из своего *религиозного* опыта, говорит он обо всем этом.

Но если Толстой как религиозный гений переживал свое бессмертие, если он как гениальный художник рассказал о нем людям, — то смертью своей он заставил их *почувствовать* бессмертие — как *святой человек*.

— — —

Вот об этой стороне *личных моих* переживаний мне и хотелось рассказать в своем “письме”.

Я глубоко убежден, что не для меня одного, а для очень и очень многих смерть Толстого будет поворотным моментом в жизни. Началом новой “эпохи”<sup>7</sup>.

Ощущение “бессмертия”, хотя бы в течение одного мгновения пережитое, — останется в душе навсегда как краеугольный камень дальнейшей духовной жизни.

Я должен прямо сказать, что, признавая “бессмертие” теоретически и “заставляя” себя путем самоуглубления переживать его в действительности, я никогда *вполне* не переживал его как *факт*.

И пережил это впервые *по-настоящему* только в связи со смертью Толстого.

И пережив, понял, не *теоретически*, а психологически, что жизнь “ожива-



ет”, становится “цельной” и неразрывно связанной с тобой только при условии этого ощущения бессмертия.

Можно теоретически бессмертие отрицать — но психологически веру в него носить в своей душе и жить радостной, “одухотворенной” жизнью.

И напротив, теоретически можно его признавать, но не иметь в душе живого чувства бессмертия и тогда ничего, кроме тления и мрака, не видеть в мире.

Ощущение бессмертия реально соединяет душу с вечным, дает не только сознание своего, но делает это “я” как бы соучастником жизни всего целого.

Вот почему то чувство бессмертия, которое заставил Толстой пережить человечество своею смертью, было великой объединяющей силой.

Почувствовав себя бессмертными, люди почувствовали себя частицами единого космоса.

Все это было для меня так изумительно ясно в тот вечер, когда я узнал о смерти Толстого.

Поздно вечером мы все, обитатели тихого одноэтажного домика, сидели по обыкновению на ступеньках крыльца.

И все мне казалось новым. Даже на звездное небо я смотрел с каким-то особенным чувством.

Умер Толстой, и душа теперь снова соединяется с Божеством, пройдя великий путь жизни. И в моей душе есть Бог. И во всех людях. И все мы соединены друг с другом как братья. И с Богом соединены как с нашим Отцом. И со звездами, и с этой ночью, и с темной, холодной Волгой, и с черным лесом, и со всей землей, и со всем небом, и со всем миром...

Вераша-неразумница больше не шалила.

— Не будьте печальной, — сказал я ей, — надо радоваться.

— А вы радуетесь?

И я невольно ответил:

— Да, радуюсь. Но это радость больше похожа на восторг. Я радуюсь, потому что чувствую бессмертия...<sup>8</sup>

### **Бог посетил народ Свой<sup>9</sup>**

В жизни отдельных людей и в жизни всего человечества бывают великие события, когда внешняя, мертвая оболочка жизни разом обращается в прах, и на несколько мгновений открывается таинственный образ вечности.

Все, чем люди живы в серые дни пошлой повседневности, все, чем одурманивают они свою душу, усыпляют совесть, — все, что кажется им таким большим и нужным и ради чего они с остервенением душат друг друга, — все это исчезает, как дьявольское наваждение, принимает свой подлинный вид ничтожества и не заслоняет больше собой великого, далекого.

Жажда власти, мечты о славе и “общем признании”, самолюбие, жажда внешних почестей, упоение “успехом”, мечты о богатстве, о роскошной жизни и наслаждениях плоти, разврат и ложь, пустословие и всяческая подделка, — вся подлость и рабская тупость нашей личной жизни, — а в жизни общественной все лицемерие деятельности общественной, всех этих ненужных, злых и безбожных общественных учреждений<sup>10</sup>, — уступают место перед лицом великих событий глубокому сознанию, что подлинная сущность и смысл жизни так необъятно велики, так прекрасны, так возвышают человеческую душу, что стыдно и невозможно становится думать о своих маленьких делах.

И люди, “опомнившись”, как бы приходят в себя и ощущают на мгновение свое Божественное призвание. Это Бог посещает народ Свой...<sup>11</sup>

Таким великим событием я считаю смерть Льва Николаевича Толстого.

И не самый факт смерти, а всю совокупность событий, предшествовавших и связанных с этой смертью.

Если бы Лев Толстой умер месяц тому назад в Ясной Поляне, сколько бы ни говорилось возвышенных слов, сколько бы ни присылали со всех концов сочувственных телеграмм “семье покойного”, сколько бы венков ни “возлагали” на его гроб, сколько бы ни почитали память его вставанием, — великого события не было бы.

Ибо не свершилось бы чуда. Не было бы среди нас особого исключительного ощущения близости духа Божия, явного для слепых. Несомненного для самых упорных и неверующих.

Смерть Толстого свершилась как *таинство*. И то безотчетное *благоговение*, которое пережил за эти дни весь мир, было не результатом уважения к “великому писателю”, а нечто бесконечно большее, не просто человеческое, — это было трепетное умиление перед новым великим чудом.

Люди почувствовали близость Божию.

Бог посетил народ свой.

Долгие годы Толстой нес свой крест — жил двойственной жизнью. Страдал от явного несоответствия своей проповеди со своею жизнью. Получал бранные и обличительные письма. Мучился сознанием невыполненной “воли Божьей”.

И молчал. Ждал. Старился. С каждым годом ближе подходил к смерти и рос духовно. Мало заметно для людей, для которых уже давно стал “великим” и “законченным”. Для которых не жил, а доживал.

Толстой признавал справедливыми упреки в роскоши, он не мог не знать, как *должен был* поступить сообразно со своим учением.

Но он продолжал жить по-прежнему, не “заставлял” себя жить по-иному, сознавая, что, внутренне не подготовив себя к окончательной правде, он не должен менять своей жизни, ибо внешнее соответствие поступка с духом учения будет “надрывом”, ложью, подделкой, тем более страшной, чем больше будет в ней сходства с правдой.

И он терпеливо выслушивал упреки. Жил в роскоши. Страдал. Нес крест свой. И неустанно работал над собой.

Никто из людей не мог знать этой работы. Только один Господь видит сердце человеческое.

И Бог видел великое сердце Толстого. И не отнимал у него земную жизнь, ибо не свершилось еще в душе его все то, ради чего он был послан в мир.

Лев Толстой неожиданно *для людей* уехал навсегда из Ясной Поляны. Уехал, чтобы остаток дней перед смертью прожить так, как веровал, подчиняясь исключительно “воле Божьей”.

Свершилось великое.

Для физических человеческих глаз, для ограниченного человеческого сознания, Толстой уехал из Ясной Поляны, побывал в Оптинской пустыни, на пути в Ростов-на-Дону захворал воспалением легких и слег на станции Астапово.

Для очей духовных отъездом из Ясной Поляны завершался внутренний рост души Толстого, после чего земная жизнь становилась ненужной, оконченной.

Чудо, о котором я говорю, и *величие* смерти Толстого в том заключается, что до осязательности ясно дали почувствовать людям — сознательно или бессознательно — промысел Божий. Близость духа Божия, непосредственное участие *Его воли* в событиях мира.

Если смерть Толстого не была *предсказана*, то после того, как она совершилась, с покоряющей силой чувствуется ее внутренняя *неизбежность*. Ее *правда*. И потому — ее *красота*.

В смерти Толстого для нас открылся какой-то просвет из тьмы, к ослепительно яркому свету.

Чудо свершилось. Это с большей или меньшей силой чувствуют все<sup>12</sup>.

Но было бы бессмертно счастье человечества, если бы оно могло событие это и сознать как чудо. Великую силу никогда не опускаться в мертвую, бездушную, греховную жизнь — почерпнуло бы оно в этом сознании, великую силу *жить только для вечности*.

### В Ясной Поляне<sup>13</sup>

Года четыре тому назад мой друг И. А. Б[еневск]ий<sup>14</sup>, хорошо знавший Толстого и близкий к толстовским кругам, горячо убеждал меня съездить с ним в Ясную Поляну.

Я не поехал.

Побоялся ехать...

Из “любопытства” посещать Толстого для меня было невозможно. Поездка могла иметь только один смысл: встать перед ним лицом к лицу. Совесть к совести. А так как я исповедую другие религиозные и философские взгляды, то это значило, кроме того, — “исповедовать” свою веру и обличать веру Толстого...

Этого я и боялся.

Меня пугала не “мировая слава” Толстого. Как, мол, он признанный гений, а я никому неведомый студент. И не преклонение перед ним (я скорей “не признавал” и не любил Толстого), наконец, не самолюбивая “трусость” быть при других разбитым и пристыженным. . .

Нет. Причины были и глубже, и лучше. Подробно говорить не к чему: скажу только, что вопреки доводам разума и всевозможным благоразумным соображениям — ехать к нему противопоставлять веру его вере было *стыдно*.

И вот теперь, через четыре года, мы ехали с тем же И. А. Б[еневск]им в Ясную Поляну на могилу Льва Николаевича. Все изменилось.

Прежней “трусости” — нет. Вместо идейно-враждебного отношения — то неожиданное чувство любви, которое без всяких усилий, помимо воли пробудилось к нему в последнее время.

Впереди не каменная усадьба, а небольшой холм земли в зимнем лесу.

После этого торжественно обвевного каким-то чудом перехода Льва Николаевича от одной низшей формы бытия, от нашей земной жизни — к другой, высшей форме, нашему познанию недоступной, — ощущение *продолжающейся* его жизни не только не уменьшается, но все увеличивается. Бессмертие Толстого — не только “головное признание”, это живое, непосредственное ощущение души. И оно не только пробудило радостное чувство бессмертия сущего духовного “я”, — оно пробудило совершенно новое чувство: ощущение нетленности всего мира, всей материи. Толстой *ушел*, но не *исчез* за этой темной чертой, которая зовется смертью, а это ясное и радостное сознание, что он *там*, и “там” *наверное*, — приблизило к нашим слепым душам мир вечный, хотя и невидимый.

— — —

В вагоне было темно, тесно и душно. . .

Толкали. Курили. Кашляли. Сморгались. . .

Но это не раздражало, “не злило”.

Да вообще теперь ничто никогда не будет ни раздражать, ни злить.

Раз “там жизнь наверное” — значит, все, что может жить и раздражать *здесь*, — такое маленькое, ненужное, мелькающее, как кинематограф. . .

А подо мной, на нижней лавке, говорили о Толстом. И какой смешной и наивный разговор это был. И каким смешным языком.

И почему-то так хорошо и радостно было, что он такой смешной и наивный.

Теперь вообще все как-то радует.

Мужик говорит с умилением, что Лев Николаевич поставил себе “памятник и в Туле, и в Москве, и в Петербурге”, и что “всем надо заботиться, чтобы оставлять по себе памятники”.

— А уж как жил, как жил: ходил, извините, в синих порточках и в рубашке. . . Все равно как мужик.

Говорят про то, что миллионы оставил, и все христианам, и что зеленую палочку, которую закопал он на кургане, не “источил червь”, а так и лежит зеленая. . .<sup>15</sup>

И снова:

— Жил так — так и в гроб положили: извините, синие порточки надели, рубашку красную. . . Как у простого мужика порточки, извините вы меня, и рубашка и больше ничего. . .

Приехали на станцию Щекино рано утром. До Ясной Поляны верст восемь.

Взяли ямщика на розвальнях, с бубенчиками, он закутал нас овчинным тулупом, и поехали. . .

А уж непогода какая! Так и мятет мятель. Прямо в лицо бьет снежная пыль, с дороги смело почти весь снег, и сани прыгают по шершавой, замерзшей земле. . .

И все хорошо. И снег, и ветер, и вьюга, и бубенцы, и запах овчинного тулупа, и свежий воздух, и простор, и небо. . .

Хорошо, потому что “изнутри” хорошо. И теперь уж это навсегда. И никто отнять не может. И странная, радостная мысль приходит: “Пойду на могилу и там скажу ему об этом. . .”

Вот уже несколько недель мир живет в атмосфере какого-то чуда. В атмосфере бессмертия, показанного тленному, зарытому в мелочах миру. И стара-

ешься не думать, а отдаваться этому чувству. Потому что от него свободно и радостно на душе, как бывало в редкие, “особенные” минуты в детстве... Когда сам для себя сочинял сказки, превращая все предметы в живые существа. И никто не знал об этом, и вот приводило в восторг, что один ты только видел и знаешь, что стол, лампа и стулья живут и разговаривают между собой.

Так и теперь. Точно во сне или в детстве, все кругом оживало. Становилось большим и светлым. И чем дальше, в поле, в вьюгу увозил нас ящик, тем сильнее было то сказочное чувство жизни...

Живой снег крутился в воздухе, об живую землю стучали полозья саней, живые белые березы одна за другой бежали нам навстречу...

А когда мы въехали в яснополянскую аллею, сошли с ящика, бубенчики перестали звенеть, и тихо зашумели деревья, — казалось, вот сейчас дойдем еще немного, еще перейдем какую-то черточку и увидим *настоящее*, с глаз рассыплется какая-то зеленая завеса, заволакивающая мир туманом.

И вдруг точно по сердцу ударил кто. Грубо толкнул: проснись, мол, эй!..

Перед глазами яснополянский дом...

Тюрьма.

Это не “символ”, не “иносказание”. Не “так себе”, “публицистическая фраза”.

Нет — тюрьма. Неуклюжее, тяжелое двухэтажное белое здание с маленькими некрашеными окнами. И деревья точно отшатнулись от него, отодвинулись. А кругом какая-то пустота. Эта пустота — невидимые стены тюрьмы.

Поскорей прошли мимо. По узкой протоптанной дорожке. В лес, в поле. Это дорога к могиле.

Говорят, по этой дороге Лев Николаевич ходил купаться. А то место, где положили его в землю, — было его любимым местом уединенной молитвы.

Здесь он жил. Жил *один*. Этой жизни в нем не знали ни родные, ни друзья, никто из людей. Никто, кроме Бога. Это была *молитва*. Самое сокровенное и самое великое, что было в его жизни<sup>6</sup>.

Над могилой небольшой холм земли, зеленые ветки от венков, наполовину занесенные снегом, — и шумят, шумят дубы, тесно обступившие вокруг могилы.

Толстой молился здесь.

И тысячи людей будут теперь молиться на этом месте.

Странное, на первый взгляд, ощущение охватывает душу — точно один, невидимо встает, какой-то таинственный *монастырь*. Скит.

И шум леса, и тишина, и дорога в лес, и встречные люди — все производит какое-то “монастырское” впечатление.

Когда мы с Б[еневск]им прошли дальше, вглубь леса, мне показалось даже, что я вижу высокую белую стену. Зубчатую стену монастыря. Казалось, что сквозь деревья виднеется дальний холм. Но если бы здесь, действительно, оказалась монастырская стена, — не было бы ничего по существу “удивительного”.

Так это “подходило” бы.

Мне думается, в те далекие времена, когда умирали великие отшельники и около их могил еще не было шумных “монастырей”, вот так же чувствовалось, что “монастырь незримый”, “святой” подымается над могилой.

Особенным, “монастырским”, зовущим каким-то шумом шумел лес, по-“монастырски” мягко и тихо падал снег, на всем печать тишины и радости.

И народ, чуткий к таким настроениям, понял уже это сродство великих христианских отшельников с “отлученным от церкви” Львом Толстым; ящик сказал И. А. дорогой:

— Скоро на *святой могиле* земли не останется — всю разберут.

“Святая могила”, “святой колодец”, “святой источник”... И надо всем этим невидимый святой монастырь...

“Монастырское” впечатление от толстовской могилы, неожиданное с первого взгляда, имеет свое, глубокое основание.

Тут дело не во внешних вещах, а в самой *сущности*. И действительно, Толстой и христианские отшельники не есть нечто *противоположное*, а, напротив, совершенно однородное *по духу*.

Но Церковь не поняла этого. За “вещами” не увидела души.

Если отбросить все то, что Толстой в Церкви не *признавал*. И ясно представить себе чем он жил, его душевное, внутреннее отношение к Богу, к миру, к жизни. Представить себе не его “учение”, а его *психологию*, его пережива-

ния, то жизненное “ощущение”, которое он носил в своей душе, — словом, уничтожить то, что *разделяло* его с христианством-отшельничеством, — самая духовная основа его “я” окажется ничем не отличающейся от признанных Церковью *святых*.

Восприятие жизни как преходящего сна, постоянное напряженное углубление в свою душу, дабы познать, что совершается в ней по воле Божьей и что по воле человеческой. Самоотречение, отдавание своей жизни — Его воле, и это постоянное тяготение *индивидуальной*, религиозной души к тихой, радостной жизни в Боге, среди природы, в лесу, куда не долетает ни шум, ни треск пустой мирской жизни... Все это делает его братом великих пустынников.

Толстой *своим* путем, но пришел к тому же, к чему приходили “старцы” “церковные”, путем “выработанных” аскетических подвигов.

Для Толстого не существовало “времени”, “прогресса”, — поэтому не существовало никакого *особого* смысла в мировой истории; для него земная жизнь — случайность, непостижимая и временная, которая скоро кончается, — и хорошо, что скоро кончается, потому что она отрывает человеческую душу от главного источника жизни — от Бога. Жизнь земная — это *тяжелый* сон, от которого будет так радостно проснуться к *настоящей* жизни.

Вот обо всех этих мыслях невольно говорит его могила. И то, что он носил в своей душе — этот невидимый людям *монастырь*, теперь над могилой его воздвигается среди тихого зимнего леса...

— — —

И. А. Б[еневск]ий уговорил меня зайти с ним в яснополянский дом к Д. П. Маковицкому<sup>17</sup>.

Очень не хотелось и казалось ненужным.

Но Б[еневск]ий удивительно умеет вытаскивать меня из “одиночества”.

И как я ему благодарен, что на этот раз он настоял на своем!

Когда я увидел перед собой Д. П. Маковицкого, ставшего “знаменитым” в качестве спутника ночного бегства Толстого, — я сразу понял всю разницу между тем, что знает о Толстом *мир*, и тем, что знают эти *близкие*.

Как будто вошел в “келью”. И вот кругом, на весь свет шум, толки, “толстовские события”...

А здесь — тихий, безгранично добрый человек, такой простой и чистый, без всякой мишуры и треска, в глазах которого точно отразилось все то, что видел он за последние дни. И столько было в них любви и ясности, что невольно хотелось плакать от умиления.

Он принес маленький жестяной чайник. Дал нам чаю. И, весь сияя, совсем по-детски сказал:

— Вот этот чайник мы купили дорогой, у кондуктора, и Лев Николаевич пил из него чай.

Для него не было никакого “Льва Толстого”, “великого писателя”. Для него был безмерно любимый человек, который умер, ушел, — и о котором он говорит с благоговением и любовью, как о чем-то неразрывно связанном с своей душой.

Б[еневск]ий, как хороший знакомый Маковицкого, сразу задал несколько интимных вопросов о последних событиях в Ясной Поляне и об отъезде в Шемардинский монастырь.

Тяжелые события. И когда-нибудь о них узнает весь мир и многое, очень многое иначе тогда поймет в жизни Толстого.

Толстой, по словам Маковицкого, всю дорогу был молчалив. В Оптинской пустыни, у старцев, вопреки рассказам газет, не был.

— Не собирался ли? — спросил я

— По моему *личному* мнению, — осторожно сказал Душан Петрович, — да, собирался...

Не поехал потому, что помешали внешние обстоятельства.

У Маковицкого пробыли не долго. К вечеру мы должны были быть у Черткова.

Душан Петрович попросил нас завезти “ремингтон” к Александре Львовне — живет она рядом с усадьбой Черткова, а сам пошел пешком.

У Александры Львовны еще сильнее пришлось пережить это удивительное чувство “далекости” от всяких “событий”. Все, что говорилось в маленькой

комнате ее маленького домика, как-то по-особенному “приближало” Толстого. Мне, при жизни его не знавшего, и то начинало казаться, что вот сейчас он войдет, рассмеется, скажет что-нибудь.

Лев Толстой совсем исчезал. Вместо него был “отец”, “дедушка”. Говорили, какой он был “худой последнее время”, как мучился... Это был любимый, бесценный человек, дух которого еще жил в этих комнатах.

И когда Александра Львовна рассказывала, как ночью, перед отъездом, он постучал в ее дверь. Как она отворила и увидела “отца” со свечой в руках, и лицо его точно светилось. И он сказал ей: “Помоги укладывать вещи”.

— Во мне все так и упало.

Когда она говорила это, оживал земной образ Толстого и становился бесконечно близким и любимым.

— — —

Александра Львовна сказала, между прочим, про одного корреспондента: — Я говорила с ним как с человеком, а он напечатал в газетах, да еще все перепутал. С журналистами надо быть осторожной.

И вот теперь я тоже “пишу”. А ведь со мной тоже говорили как с человеком. Да еще как с другом близкого человека Б[еневск]ого.

Но видит Бог, что я пишу не как журналист, а как человек. Пишу потому, что мне хочется сказать, о своих впечатлениях не “читателям”, а людям.

То интимное, что нам рассказывали у Чертковых, и Маковицкий, и у Александры Львовны, — я передавать не могу. Пусть об этом когда-нибудь скажут они сами так, как найдут это нужным. Но я скажу только, что вся жизнь Толстого после этих рассказов получает совершенно новое освещение.

Буквально весь мир произнес над последними событиями в Ясной Поляне такой приговор:

Толстой, уехав из Ясной Поляны, совершил великий подвиг, потому что совместил слово свое с делом.

И я теперь вижу, как видят это все близкие и родные Толстого и как увидит когда-нибудь весь мир, что жизнь Толстого в Ясной Поляне была не компромиссом, а величайшим подвигом, была самым глубоким соединением слова и дела.

Люди думали, что Толстой не уходил потому, что привязан к мягкой мебели, и он терпеливо сносил упреки, — но он не уходил потому, что боялся поступить слишком эгоистично, слишком ему хотелось уйти, слишком было легко.

Не “привязанность к роскоши”, “обстановке”, к “людям” и “привычной жизни” удерживала его, — а боязнь, что он изберет слишком легкий выход.

Уйти из этого ада, в котором ему приходилось жить в своей интимной жизни, — это было слишком для него приятно и просто, и он жил, надеясь, что добро победит зло.

Он решил уже давно, что уйдет тогда, когда почувствует, что делает это не из эгоистических побуждений, не из желания с трудного пути сойти на более легкий; тогда, когда почувствует в этом желании уйти — *голос Божий*.

И когда в ту великую ночь он это почувствовал — он и ушел.

### От кого “бежал” Лев Толстой<sup>18</sup>

Год тому назад, в ночь с 27 на 28 октября, Лев Толстой “бежал” из Ясной Поляны.

Событие это имело мировое значение, потому что только после своего отъезда Лев Толстой встал перед миром во весь свой гигантский рост.

Что же такое случилось?

Немногочисленные, но злобные враги Толстого издевались:

— Убежал, как собака... Издох где-то на станции... Туда ему и дорога.

“Бегство” Толстого — это одна из величайших побед человеческого духа над житейской пошлостью.

Почти тридцать лет тому назад Лев Толстой отказался от своего имущества в пользу семьи. Хотел уйти — уехать к духовборам. Но остался. Стал жить в Ясной Поляне.

– Пишет одно – а живет по-другому, – слышались упреки.

Упрекали не только невежественные враги, но такие “властители дум”, как покойный Михайловский<sup>19</sup>.

Многие обращались к нему за материальной помощью.

Он отвечал: у меня ничего нет.

Ему не верили: ничего нет, а сам живет, как граф. Даже друзья недоумевали: говорит, что жить в прежней обстановке невыносимо тяжело, а сам не уходит, остается в Ясной Поляне.

Люди не могли понять того, что стало ясно только после его смерти: Толстой не уходил потому, что ему было *легче* уйти, чем жить в прежних условиях, и он, несмотря на всеобщие упреки, продолжал нести более *тяжелый* крест “семейной жизни”, чем “легкий” крест уединения, который ему со всех сторон подсказывали. И Толстой ушел только тогда, когда почувствовал, что уходит не по “слабости”, не потому, что это облегчает его жизнь, не потому, что ему этого “хочется”, – а когда всем существом своим понял, что *такова воля Божья*. Всю жизнь свою Толстой прислушивался к голосу Божьему в себе и учил других и сам старался жить, руководствуясь не своей волей, а волей Того, Кто послал людей в мир. По его собственным словам, долгие годы ждал он, когда этот голос велит ему порвать, наконец, невыносимо тяжкие условия семейной жизни и уйти из мира. Это и случилось в ночь с 27 на 28 октября.

– – –

Прошлую зиму, уже после смерти Льва Толстого, я с И. А. Беневским ездил в Ясную Поляну.

Могила в тихом, совсем “монастырском” лесу. И тихие “богомольцы”, которые подходили к могиле, и узкие тропинки по рыхлому снегу, и серебряный иней на березах – все так странно напоминало “скит”; не было только “старца” . . .

Какой-то мужичок подошел к ограде. Перекрестился и сказал:

– Да, пожил бы еще *дедушка*, кабы не простудился . . .

И взял кусочек земли: “с святой могилы”.

На обратном пути, уже совсем ночью, мы заехали к Александре Львовне.

Там была в гостях “старушка Шмидт”<sup>20</sup>, – недавно у нее случилось большое горе: сгорел дом и масса бумаг, собранных ею за тридцатилетнюю дружбу с Толстым, письма его, рукописи. А вот теперь новое, страшное горе – умер Лев Николаевич.

– Я забыть не могу, – тихо говорит она, – как он последний раз был у меня с Душаном Петровичем: такое измученное лицо было . . . Господи, думала ли я, что последний раз? . . .

В маленьком флигельке Александры Львовны тепло, уютно, тихо. Тоже как будто в келье, и все полно воспоминанья о “милом дедушке”, о дорогом, безмерно любимом человеке.

Александра Львовна рассказывает:

– Я спала внизу. Вдруг ночью стук в дверь. Отворяю, смотрю: отец со свечой в руках. Лицо его положительно светилось. “Я еду, – сказал он, – помоги уложить вещи”. Когда мы пришли с Душаном Петровичем (доктором Маковицким, уехавшим вместе с Толстым), – все было почти уложено. Мы ждали этого давно, но окончательное решение было очевидно внезапным. Софья Андреевна спала за три комнаты от отца, и все двери держала открытыми настежь. Теперь двери были закрыты. Оказывается, отец закрыл их, и Софья Андреевна не проснулась.

– Куда же хотел Лев Николаевич ехать? – спросил я.

– Или в Болгарию, или на юг, в деревню к одному другу крестьянину.

– Неужели он думал, что его “не найдут” и к нему не начнется еще большее паломничество?

– Предполагалось обратиться через газеты с просьбой “не искать”.

– И с ним никого бы не было из друзей?

– Нет, я бы потом приехала и стала жить с ним.

Александра Львовна тихо улыбнулась и прибавила:

– Он очень меня отговаривал от этого: “Тебе будет трудно, ты со своим здоровьем не выдержишь такой жизни”. А я спрашиваю его: “Ты в восемьдесят лет два года выдержишь, а я нет?” – Засмеялся . . .

Старушка Шмидт вздыхает и говорит:  
– Вот уехал... И пожить не пришлось.

— — —

От кого же “бежал” Лев Толстой?

Разумеется, прежде всего от Софьи Андреевны и от той невыносимой для него жизни, которой она его окружила.

Когда-то Софья Андреевна была настоящая его “подруга жизни”. Они вместе вели хозяйство, увлекались свиноводством, в экономии у Толстых было до 500 голов породистых свиней! Граф сам обходил хлевы и следил, чтобы каждый день их мыли. Графиня вела приходо-расходные книги, как редкий специалист-приказчик.

Были дети. Было тихое “семейное счастье”. Богатство, слава. Это ли еще не “рай земной”?

Но Лев Николаевич опрокинул все одним взмахом. Все это счастье назвал ложью и обманом. Отрекся от прежней жизни, сам пошел пахать землю и сказал: смысл жизни не в славе, не в богатстве, не в семье, — а в том, чтобы исполнять волю Божию.

Софья Андреевна не пошла по новой дороге. И в Ясной Поляне началась двойственная жизнь. Медленная, мучительная трагедия. Внизу, к “дедушке” приходили люди “босиком”, “братья” его, которых не пустят ни в один “порядочный дом”.

Наверху лакеи в белых перчатках докладывали: “Ваше сиятельство, кушать подано”.

Лев Толстой учил: вся земля Божия, грешно владеть ею. А черкесы, нанятые Софьей Андреевной, пороли крестьян за порубки в “барском лесу”.

Софья Андреевна не переставала любить Льва Николаевича, но она не могла понять его и простить ему новой жизни. Для нее это была “блажь”, “несчастье”, обрушившееся на ее семью, — и она буквально тиранила Льва Николаевича, сплошь и рядом доводя его до слез и до обмороков.

Она по целым месяцам не допускала к нему Черткова. И довела Александру Львовну, любимую дочь Льва Николаевича, единственную “последовательницу” его в семье, до того, что та вынуждена была уехать из Ясной Поляны.

Лев Толстой “бежал” от Софьи Андреевны только тогда, когда почувствовал в себе нравственные силы по-настоящему *все простить*.

Во-вторых, Толстой “бежал” от друзей. Они очень любили его. Они проявляли трогательную заботливость. Но они “снимали” каждое его движение, за спиной друзей вечно стояли фотографы и кинематографы, скульпторы и живописцы. Толстой был на *исключительном положении*. А ему хотелось быть как *все*. Ему не хотелось быть чем-то особенным. Всю эту шумиху вокруг себя он считал суетной и смешной.

– Великий писатель *земли русской*; почему не *воды*? Я никогда не мог понять этого, — шутил Толстой.

А подписывая бесконечное количество своих портретов, смеялся:

– Кипит работа!

Бегство Толстого от Софьи Андреевны — было высшим проявлением его *примирения с людьми*.

Бегство от друзей — было высшим проявлением его стремления к *простоте*.

### **Лев Толстой (К годовщине смерти)<sup>21</sup>**

Лев Николаевич Толстой — самое полное, самое совершенное выражение духовной сущности великого русского народа<sup>22</sup>.

Не любить и не понимать Толстого — значит не любить и не понимать Россию.

Еще Достоевский указывал на “всемирность” русского народа. На многогранность русского гения. На способность соединять в своем творчестве все разнообразие отдельных национальностей.

Это свойство я бы назвал *способностью к полноте жизни*.



В Толстом было что-то *ненасытимое*, какая-то неугасающая жажда вместить все, изжить все. Охватить разумом, любовью всю Истину, всю жизнь.

И двадцатилетним юношей, и восьмидесятидвухлетним старцем — он одинаково был способен на *новое, творческое*: в пятьдесят с лишком лет, когда люди обыкновенно считают жизнь свою оконченной, он, не задаваясь вопросом, сколько лет осталось ему жить, — начал перестраивать жизнь свою по-новому сверху донизу. И в восемьдесят два года — он с такой же смелостью и “молодостью” хотел начинать *новый* этап своего развития.

Недаром Толстой удивлялся: почему это люди относятся ко мне с уважением, как к “старцу”, — когда я в душе чувствую, что, как был мальчиком, так и остался.

Жажда жизни у Толстого — это не то, что принято понимать обычно под этим словом: желание испробовать все чувственные удовольствия. Правда, в молодости, до тридцати пяти лет, он вел светскую жизнь: и кутил, и увлекался женщинами, — но даже и в этот темный период, о котором с чувством горького покаянного стыда вспоминал он всю жизнь, даже в этот период — подлинная жажда жизни не затихала в нем. По словам офицеров, служивших с ним в Севастополе, Толстой после кутежей делался мрачным и потом со слезами и безысходным горем каялся кому-нибудь из друзей в своих грехах.

Но дело не в этом. Жажда жизни Толстого была совершенно другого порядка.

— — —

Достоевский называл русский народ самым религиозным из всех народов.

Белинский — самым атеистическим.

Оба они были правы, но оба видели лишь одну сторону.

Достоевский видел устремление русского народа “к небесному”, его “искание Бога”, “града невидимого”. Жажду покаяния, подвига. . .

Белинский видел *земную красоту* его, стремление к *справедливости*, трезвое, прямое отношение к жизни, в искусстве — его тяготение к реализму.

По моему глубокому убеждению, в душе русского народа земной рационализм и религиозность заложены в равной мере, без противоречий и без внутренней вражды.

Сам народ еще не сознал этого, но это с поразительной яркостью видно на нашей интеллигенции. В ней нарушено *равновесие*, и потому составные элементы “психики” резко бросаются в глаза: ведь вся история нашей интеллигенции есть борьба двух начал — религиозного и рационалистического. То, что в народе “гармонично”, в интеллигенции стало противоборствующими стихиями. То, что в народе главный источник силы, в интеллигенции обусловило ее *трагедию*.

Толстой всеобъемлющей личностью своей выражает *полноту народной души*.

Небесное отразилось в его религиозности.

Земное — в его стихийной любви к земле, к “чернозему”, к природе.

Первое выражается в его “религиозной системе”.

Второе — в его художественном творчестве.

По своим религиозным идеям Толстой — аскет: “Жизнь есть сон, смерть — пробуждение”, — вот основная черта его религиозных настроений, поскольку они выразились в философских схемах. Мы — странники, пришельцы. Чем скорей жизнь кончится — тем лучше.

Но Толстой сердцем своим любил земную жизнь *не как сон*.

Прочтите воспоминания о нем близких людей. О его любви к природе, о его умении “всегда радоваться”<sup>23</sup>. Он не мог жить *без людей*. В художественном творчестве он необычайно *телесен*. Плоть земли — вот что понимал он больше всего. Отсюда его совершенный *реализм*.

В личной жизни Толстого небесное и земное также находило свое полное выражение.

Утром он шел *один* — молиться Богу. В лес, на то самое место в густой березовой роще, где теперь находится его могила.

Молитва для Толстого была актом напряженнейшего самоуглубления, отчет перед своей совестью в пережитом. Он приходил домой и *писал*. Его твор-

чество было продолжением его молитвы. То, что открывалось ему в часы уединенного самоуглубления в лесу, — дома за работой принимало форму логической мысли.

А вечером он жил с людьми, не в полусне, а ярко, свободно, радостно, открытой русской душой.

Бывало, даже трепака плясал! Да-да! Не боясь быть уличенным “в противоречии” людьми в футляре, — заводил граммофон и под музыку Трояновского, под дружный хохот всех собравшихся показывал, как пляшут “старики”.

Русский человек умеет “разойтись”, любит вольную волюшку, умеет, сломя голову, скакать на тройке.

Умеет и простаивать на одном камне по несколько лет, в посте и молитве.

Эти “эстетические” черты русского народа отразились в Толстом и его трогательном смирении, терпении, всепрощении.

Он искренно не понимал своего величия:

— Шумиха, которая меня окружает, — все это пройдет. А вот деятельность Федора Страхова<sup>24</sup> — это вечное.

Ниже Федора Страхова себя считал!

— Вас большинство высоко ставит, — говорили ему.

— Да, это повальное, — с грустью говорил Толстой.

А на прогулках верхом Толстой любил мчаться во весь дух, чтобы ветви били в лицо, любил перескакивать рвы и ездить по неведомым дорогам.

От самых вершин своего творчества до повседневных мелочей — он был цельный, гениальный русский человек.

— — —

Когда Толстой был совсем маленький, он любил сидеть, зажав колени руками, — ему казалось, что если стиснуть колени изо всех сил, то можно полететь по воздуху и подняться на громадную высоту.

Эта детская мечта — это стремление к небесам — во всей полноте осуществилась только в последние дни перед его смертью.

Бегство из Ясной Поляны, астаповские дни, последние минуты перед смертью — все это засвидетельствовало перед миром, что дети иногда бывают мудрее взрослых: люди могут подыматься к небесам!

Правда, для этого мало стиснуть колени — надо прожить восемьдесят два года. Но и прожить восемьдесят два года недостаточно: надо сохранить до глубокой старости детскую веру.

И тогда детская мечта, над которой нельзя не улыбнуться, станет великой жизненной правдой, перед которой нельзя не поклониться.

### Победа над миром<sup>25</sup>

Год тому назад, в ночь с 27 на 28 октября, совершилось великое событие: Лев Толстой тайно уехал из Ясной Поляны.

Уход этот принято называть “трагедией” — на самом деле это одна из величайших побед над миром.

Да, с точки зрения слишком человеческой, много трагического в “бегстве” Толстого от семьи, с которой жил почти пятьдесят лет, от условий жизни, которым подчинялся долгие годы. Видеть все счастье в семье, уже стариком пойти по новой дороге и остаться почти одиноким. В течение двадцати лет жить, мучаясь непониманием своих близких, жены и детей. И, наконец, убежать от них. А через несколько дней умереть — все это черты глубокой человеческой трагедии.

Но к Толстому неприменимы мерки житейские. Для того, чья жизнь была ежедневным, неустанным, неослабевающим исполнением воли Божией, — нужны другие оценки и другой язык.

Лев Толстой самую основную сущность своего поступка объяснил людям так: как истинный христианин под конец своей жизни я решил уйти от мира<sup>26</sup>.

“Уйти от мира” — вот загадочные слова, которые время от времени, с большей или меньшей силой, повторяются в истории человечества.

И на жизни Льва Толстого с потрясающей силой подтверждается истина, которую до сих пор люди не могут понять во всей глубине:

всякий воистину уходящий от мира — побеждает мир<sup>27</sup>.

Всякий уходящий от мира — возвращается в него победителем.

При жизни Толстого “в миру”, несмотря на всю его “славу” и на все “уважение” к нему, — между ним и людьми стояла такая перегородка. Перегородка “недоверия”, “сомнений”, скрытого “осуждения”, снисходительного “прощения” и пр., и пр., и пр. Он был в миру и принадлежал миру не как победитель, а как “подчиненный”.

И вот, 28 октября, когда весть о бегстве его разнеслась по всей земле, — свершилось поистине чудо. Преграда рухнула. И весь мир, все живое в мире, все чувствующее, все страдающее болями совести, измученной грехами, — преклонилось перед Толстым, как перед праведником<sup>28</sup>.

С идеями Толстого можно не соглашаться, — но нельзя не быть учеником праведника.

И Толстой стал учителем всего мира<sup>29</sup>. Ушедший от нас “тайно” — вернулся к нам в славе, — не житейской, суетной, “мирской”, а непреходящей, божественной.

### **Венок на могилу Толстого<sup>30</sup>**

Принято говорить: “Великого человека не стало — а жизнь идет по-прежнему”.

Да, конечно: по-прежнему светит солнце, по-прежнему рождаются и умирают люди, по-прежнему “кипит жизнь”.

Но что жизнь “не изменилась” — это глубокая неправда, происходящая от нашей собственной духовной слепоты, лишаящей нас возможности созерцать жизнь *во всем ее объеме*.

Внешними переменами Толстой дорожил меньше всего. Он требовал внутреннего перерождения. Вот почему сегодня, в день годовщины смерти одного из величайших учителей жизни, я хотел бы отметить внутреннее значение его жизни и его смерти.

Это ложь, что жизнь после Толстого пошла дальше, по прежней дороге, как ни в чем не бывало!

Уход его из Ясной Поляны, беспримерная сила его религиозной воли и огненная жажда подлинной жизни “по-Божьи” — все это осветило жизнь нашу темную и безумную таким ярким светом, что в сокровенной глубине нашей совести мы не могли не ужаснуться, “до чего дошли”, — не могли хоть немного не начать жить по-новому<sup>31</sup>.

Призывы “опомниться” пронесли над миром благодатным громом. И если по-прежнему идут войны, по-прежнему в жизни и кровь, и насилие, и разврат, — то это показывает лишь, что история мира — процесс мучительный и сложный и что “Царствие Божье” берется упорным трудом человечества<sup>32</sup>.

Ведь когда на землю сошла сама Божественная Правда и люди, не приняв ее, распяли на кресте своего Бога, — разве жизнь *сразу* стала другой?

Но если жизнь и смерть Сына Божия не изменила *сразу* человеческую жизнь, то можно ли спрашивать этого от жизни одного из достойнейших служителей Божиих?

Но христианство постепенно перерождало мир.

И моральное учение Толстого медленно волеет в жизнь страдающего от грехов своих человечества много света, тепла и сил для борьбы.

Вот в годовщину смерти Толстого и хочется вспомнить с чувством глубокой любви и благоговения эту трудную работу Господню, которую он совершал как истинный апостол Божественной Правды<sup>33</sup>.

### **Лев Толстой и Вл. Соловьев<sup>34</sup>**

Лев Толстой не понимал и не любил Вл. Соловьева. Вл. Соловьев не понимал и не любил Толстого.

Толстой говорил: опять пришел Вл. Соловьев и, наверное, будет читать какую-нибудь философскую неразбериху; и зачем этот человек тратит свои громадные умственные силы на такой вздор?

Вл. Соловьев сравнивал христианство Толстого с сектой “дыромоляев”, которые всю религию свели к очень простой молитве: “Изба моя, дыра моя, спаси меня”<sup>35</sup>.

Не понимали, не любили, сходились и расходились все резче и резче и, наконец, стали почти “врагами”.

Так и общество привыкло думать: Толстой и Вл. Соловьев – две непримиримые противоположности. “Толстовцы” и “соловьевцы” также считают себя двумя враждебными лагерями.

Года три назад я, в качестве “соловьевца”, прочел в Москве пять публичных лекций о Толстом. “Толстолец” Ив. Трегубов в ответ прочел “разбор” моих лекций. И мы жестоко поспорили<sup>36</sup>.

Последние годы и особенно последние дни Толстого совершенно по-новому осветили его личность, и теперь “распря” двух величайших русских мыслителей представляется мне глубочайшим недоразумением, если хотите – трагедией современного религиозного сознания человечества.

Идея “вселенского христианства” слишком широка и всеобъемлюща, и многие служители *одной и той же идеи* считают себя *врагами* только потому, что с разных, иногда противоположных сторон видят одну и ту же истину.

Лев Толстой созерцал эту истину как художник даже в чисто философских своих произведениях.

Вл. Соловьев созерцал ее только как *философ* даже в своей поэзии.

Толстой всегда *изображает*. Его “учение” – это *описание* христианского отношения к жизни, к людям, к Богу. Вся сила Толстого в том, что он *показывает* христианскую психологию. О любви, о жизни во имя вечности, о прониновенном чувстве добра, о самоуглублении, о напряженном искании Царствия Божия в своем сердце – вот о чем говорил Лев Толстой.

Все его учение есть не что иное, как исповедь *христианского сердца*.

Когда Толстой начинал подыскивать этим переживаниям философские схемы, он сразу становился беспомощен и путался в противоречиях.

Вл. Соловьев – философ в настоящем смысле этого слова. Он наметил грандиозную, хотя и незаконченную и местами необработанную философскую систему. Он дал философское *оправдание* добра. Его произведение – это раскрытие *христианского сознания*.

Лев Толстой не мог простить Соловьеву, что он вместо религии занимается “философией”, не учит, а пишет головомомный “вздор”.

Вл. Соловьев не мог простить Толстому плохой философии.

Великое христианское сердце Толстого и великий христианский ум Вл. Соловьева не поняли и “не нашли” друг друга.

Замечательно, что главнейший пункт несогласия и идейной вражды – это учение о воскресении Христовом!

На это у нас мало обращали внимания в литературе. Когда-то в “Вопросах философии и психологии” был напечатан отрывок из письма Соловьева к Толстому – в этом письме он по пунктам и ребром ставит вопрос о воскресении<sup>37</sup>. Что ответил на письмо Толстой, неизвестно. Я лично спрашивал В. Г. Черткова об этой переписке, и он также об ответе Толстого ничего сказать не мог. Но и так ясно, что Толстой мог ответить одно: воскресение Христово – легенда.

Соловьев же доказывает, как видно из письма, теперь целиком изданного Радловым, что воскресение Христово – это победа смысла над безмыслицей.

Разница, как видите, так велика, что трудно говорить о сродстве двух мыслителей.

Но и здесь Толстой, отрицая “как философ” воскресение, любил живой образ Христа, относился к нему не как просто к “учителю”, а так же, как и Соловьев, и никогда бы он не согласился в душе отречься от имени христианина, хотя бы всеми учеными мира было доказано, что Христос учил совершенно тому же, что и Будда, и Моисей, и т. д.<sup>38</sup>

И Толстой, “отрицавший” воскресение Христово, и Вл. Соловьев, не проповедовавший то, что, по мнению Толстого, должен проповедовать каждый христианин, – были братьями по духу, разное мыслили, одно любили.

Оба они провозвестники вселенского христианства<sup>39</sup>.

Сестра Льва Николаевича Толстого, монахиня Мария Николаевна, перед смертью приняла “схиму”<sup>41</sup>.

Окончательно ушла от жизни.

Лев Толстой перед смертью ночью уехал из Ясной Поляны:

Окончательно ушел от мира.

Церковь предала Толстого анафеме.

Толстая приняла высший монашеский чин “схимонахини”.

Но *сущность, религиозная основа веры* и у Льва Толстого, и у Марии Толстой – *одна и та же*<sup>42</sup>.

В одном из писем к Александре Андреевне Толстой Лев Николаевич писал:

“Ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей церкви. Я его знаю и не разделяю. Но не имею ни одного слова сказать против тех, которые верят так. Особенно, когда вы прибавляете о том, что сущность учения в Нагорной проповеди. Не только не отрицаю этого учения, но, если бы мне сказали: что я хочу, чтобы дети мои были неверующими, каким я был, или верили бы тому, чему учит церковь? я бы, не задумываясь, выбрал бы веру по церкви. Я знаю, например, весь народ, который *верит* не только тому, чему учит церковь, но примешивает еще к тому бездну суеверий, и я себя (убежденный, что я верю истинно), не разделяю от бабы, верящей Пятнице, и утверждаю, что мы с этой бабой совершенно равно (ни больше, ни меньше) знаем истину. <...> Все это я говорю к тому, что бабу, верующую в Пятницу, я понимаю, и признаю в ней истинную веру, потому что знаю, что несообразность понятия Пятницы, как Бога, для нее не существует, и она смотрит во все свои глаза и больше видеть не может. Она смотрит туда, куда надо, ищет Бога, и Бог найдет ее. И между ею и мною нет пред Богом никакой разницы, потому что мое понятие о Боге, которое кажется мне таким высоким, в сравнении с истинным Богом так же мелко, уродливо, как и понятие бабы о Пятнице. <...> И как я чувствую себя в полном согласии с искренно верующими из народа, так точно я чувствую себя в согласии с верой по церкви и с вами, если вера искренна и вы смотрите на Бога во все глаза, не сквозь очки и не прищуриваясь”<sup>43</sup>.

И “проклятый” Лев, и благословенная Мария – одинаково смотрели на Бога “во все глаза”. И Бог, веруем, нашел их обоих. И то, что разделяли здесь, на земле, люди на “анафем” и “схимонахинь”, – уже не сможет разделить их там<sup>44</sup>.

Жестокий “смиранный оптинский старец” Иосиф запретил Марье Николаевне не только *молиться* об умершем “окаянном” Льве, но даже *думать* о нем<sup>45</sup>.

Но он не мог запретить сердцу ее *любить* и душе “веровать”, смотреть “во все глаза” на единого Бога – и эта вера, и эта любовь сильнее запретов оптинских старцев; любовь и вера соединит их, разъединенных здесь, на земле, людьми и церковь – для вечной жизни в Боге – в любви<sup>46</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Печатается по: Новая Земля. 1910. № 9. С. 2–3. Подпись: Далекий Друг.
- 2 Указанное произведение входило в цикл “Письма одинокого человека” и было опубликовано в том же номере журнала (с. 8–10).
- 3 Бирюков Павел Иванович (1860–1931) – публицист; друг и биограф Л. Н. Толстого.
- 4 Свенцицкий имел основания для скепсиса, поскольку публично произнес: “Я не могу молчать” (зачин “Открытого обращения верующего к Православной Церкви”) на 2,5 года раньше Л. Н. Толстого и делами доказал, что это была не фраза. За напечатанную в журнале “Полярная звезда” (1906. № 8. С. 561–564) статью, призывавшую прекратить братоубийство, обуздать месть властей предержащих и наложить епитимию на чиновников-руководителей совершаемых злодейств, Свенцицкий был обвинен по ст. 128 Уголовного уложения в “дерзком неуважении к власти”. В речи на суде 4 ноября 1906 года подтвердил

- свою позицию, отстаивал право не повиноваться государственным законам, раз они идут вразрез с заветами Христа, умолял Церковь снять с солдат присягу, понуждающую их расстреливать даже родного отца, и был оправдан присяжными заседателями.
- 5 Печатается по: Новая Земля. 1910. № 10. С 8–11. Подпись: Далекий Друг.
  - 6 Название и отдельные места написанной двумя годами позже статьи В. В Зеньковского “Проблема бессмертия Л. Н. Толстого” прямо указывают на первоисточник: “По силе его дерзновенного протеста против современной культуры он по праву должен быть назван гением, <...> величайшая заслуга Толстого <...> в его смелой, проникновенной, часто гениальной борьбе за религиозное миропонимание, за религиозное отношение к жизни. Религиозное творчество – вот то главное, в чем расцвел гений Толстого, оно ценнее, важнее, чем все остальное, что он дал культуре <...> Самое характерное в духовной личности Толстого то, что он был мистиком” (Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб, 2000. С. 500–501).
  - 7 Ср.: “Эта смерть может явиться началом коренного духовного переворота в сознании общества. <...> Именно это новое чувство явится источником нашего духовного обновления. <...> Если смерть Толстого окажется не событием национальной жизни, началом новой ее эпохи, а лишь эпизодом, оживившим столбцы газет и залы собраний, то история скажет о нас, что мы не заслужили быть современниками Толстого и свидетелями его прекрасной смерти” (Франк С. Памяти Льва Толстого // Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб, 2000. С. 555).
  - 8 Ср. написанное 1 ноября 1910 г., еще до смерти Толстого: “Он вплотную подошел к Престолу Божию, и у него он услышит свой последний суд и едва ли – осуждение. Какие нам, русским людям, среди тяжких, кошмарных будней посылает Бог праздники!” (Нестеров М. Письма. Л., 1988. С. 241).
  - 9 Печатается по: Новая Земля. 1910. № 10. С. 3–4. Подпись: В. Свенцицкий.
  - 10 “Действительно ненужными суды и войско становятся только для духовно-возрожденных” (Тареев В. Цель и смысл жизни. Св.-Тр. Сергиева Лавра, 1903. Ч. 2. Гл. 4. V).
  - 11 Ср.: Руфь 1, 6.
  - 12 Цитировавший статью В. А. Анзимиров назвал эти строки “мягкими, благоухающими” (Московская газета-копейка. 1910. 22 ноября. № 174. С. 3).
  - 13 Печатается по: Новая Земля. 1910. № 11. С. 4–8. Подпись: В. Свенцицкий.
  - 14 Беневский Иван Аркадьевич (1880–1922) – основатель и руководитель земледельческой общины в Харьковской губ., участник созданного в 1905 г. Свенцицким и В. Ф. Эрном Христианского братства борьбы, многократный посетитель и корреспондент Л. Н. Толстого, который говорил о “его глубокой религиозности, милой доброте, особенности: придает значение крестному знамению” (Маковицкий Д. У Толстого. 1904–1910. М., 1979) и 25 июля 1905 г. отмечал: “Беневский писал <...> во-первых, что Иисус – Бог; второе – что рад, что я молюсь. Я ему ответил: “Если бы Иисус был Бог, то для меня разрушилось бы понятие о Боге. И что хотя я молюсь каждый день, но считаю, что это слабость” (Толстой Л. Полное собр. соч.: В 90 т. Т. 75). Беневский считал, что “обладание землей как собственностью несогласно с евангельским учением” (Новая Земля. 1912. № 13/14; Жизнь для всех. 1912. № 1. С. 349–351). В 1910 г. отказался от прав на полученное по наследству имение (ныне – Брянская обл., пос. Дубровка), передал землю второму Немерскому сельскому обществу и организовал на ней толстовскую сельскохозяйственную общину, где работали все члены семьи Беневских; с 1915 г. там действовала детская колония для детей-сирот.
  - 15 Н. Л. Толстой в детстве объявил братьям, “что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми <...> Эта тайна была <...> написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я <...> просил в память Николеньки закопать меня. <...> И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает” (Толстой Л. ПСС. Т. 34. С. 386).
  - 16 Ср. запись от 24 августа 1906 г.: “Иногда молюсь в неурочное время самым простым образом, говорю: “Господи, помилуй”, крещусь рукой, молюсь не мыслью, а одним чувством сознания своей зависимости от Бога. Советовать никому не стану, но для меня это хорошо. Сейчас так вздохнул молитвенно” (Толстой Л. ПСС. Т. 55. С. 238).

- 17 Маковицкий Душан Петрович (1866–1921) – друг Л. Н. Толстого, врач его семьи с 1904 г.
- 18 Печатается по: Царицынская мысль. 1911. 28 октября № 237. Подпись: Друг.
- 19 Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – публицист, литературный критик, социолог; теоретик народничества. Резко критиковал теорию Л. Н. Толстого о непротивлении злу насиллием.
- 20 Шмидт Мария Александровна (1843–1911) – друг семьи Толстых.
- 21 Печатается по: Царицынская мысль. 1911. 6 ноября. № 245. Подпись: Друг.
- 22 Ср.: “Лев Толстой – великий символ русского народа во всем его многообразии, с его падениями, покаянием, гордыней и смирением, яростью и нежностью, мудрым величием гения, кои так непостижимо сплетаются в нашем народе” (Нестеров М. Письма. Л., 1988. С. 241).
- 23 1 Фес. 5. 16.
- 24 Страхов Федор Алексеевич (1861–1923) – музыкант, философ, автор работ “Дух и материя”, “Искание истин”; приверженец учения Л. Н. Толстого (ср. его сохранившийся отзыв: “Вся эта моя известность – пуф!.. Вот деятельность Страхова... серьезна, а моя... – никому не нужна и исчезнет”).
- 25 Печатается по: Московская газета-копейка. 1911. 29 октября № 249. Подпись: В. Свенцицкий.
- 26 Свенцицкий основывался на газетных сообщениях искажавших текст прощального письма. Ср.: “...я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни” (Толстой Л. ПСС. Т. 84. С. 404); и годом раньше: “Хочется уединения, удалиться от суеты мирской, как буддийские старики делают” (Маковицкий Д. У Толстого, 1904–1910. Кн. 4. М., 1979. С. 35).
- 27 1 Ин. 2, 15–16; 5, 4–5.
- 28 Ср.: “При вести о смерти Толстого вся Россия преклонилась перед ним как перед исповедником и мучеником христианства – и это несмотря на его собственное заявление, что вера в Христа как Сына Божьего есть не что иное как кощунство” (Степун Ф. Религиозная трагедия Льва Толстого // Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000. С. 468).
- 29 Ср.: “Бегство Толстого из мира есть единственное реальное поучение его нам. Но куда из мира уйдешь, если нет катакомбы. Но нет: катакомба есть у каждого из нас: ее нужно только сознать, расширить, превратить в место встречи” (Белый А. Лев Толстой и культура // Там же. С. 599).
- 30 Печатается по: Трудовая копейка. 1911. 7 ноября. № 50. Подпись: В. Свенцицкий.
- 31 Ср.: “Своим влиянием он оказал и оказывает положительное влияние в смысле общего пробуждения религиозных запросов. Оно уподобляется в этом смысле влиянию тех мыслителей древности, которые были “детоводителями ко Христу” (Булгаков С. Л. Н. Толстой // Там же. С. 410).
- 32 Ср.: Мф. 11, 12.
- 33 Ср.: “...то, чем ослепительно сияет для нас его душа, есть прежде всего два основных ее свойства: безграничное правдолюбие и острота нравственной совести. Толстой – пророк, который не знает иных мерил, иных точек зрения и оценок, кроме правды праведности” (Франк С. Указ. соч. С. 546).
- 34 Печатается по: Московская газета-копейка. 1911. 7 мая. № 104. Подпись В. Свенцицкий.
- 35 См. предисловие В. С. Соловьева к “Трем разговорам...” (1900).
- 36 Подр. См.: Свенцицкий В. Собр. соч. Т. 2 М., 2010. С. 679–683. Трегубов Иван Михайлович (1858–1931) – последователь Л. Н. Толстого, издатель бесед И. А. Чурикова.
- 37 Имеется в виду письмо Л. Н. Толстому от 28 июля 1894 г. (Вопросы философии и психологии. Кн. 79; Письма В. С. Соловьева / Под ред. Э. Л. Радлова Т. 3. СПб., 1911).
- 38 Ср.: “Хотя Толстой не верит в божество Христа, но Его словам он поверил так, как могут им верить те, кто видел во Христе Бога” (Зеньковский В., прот. История русской философии: В 2 т. Париж, 1989. Т. 1. С. 400); “В Толстом это подсознательное знание, что Христос был воистину Богом, было не так сильно, как в мистике Кириллове, но все же, думается, оно в нем было” (Степун Ф. Указ. соч. С. 468).
- 39 Ср.: “...объединяются они <...> общей религиозной задачей, которую каждый

из них решал по-своему: это – практическая жизненная задача осуществления Царствия Божиего на земле <...> Будучи полнейшими антиподами в других отношениях, <...> оба были убеждены, что Царствие Божие должно стать всем во всем человеческом обществе. <...> Оба они искали Царствия Божия и правды его; оба они поняли его как всеединство, в котором человек должен без остатка принадлежать Богу” (Трубецкой Е. Спор Толстого и Соловьева о государстве // Л. Н. Толстой: pro et contra/ СПб., 2000. С. 376, 398).

- 40 Печатается по: Новая Земля 1912. № 17/18. С. 7–8. Подпись: В. С.
- 41 Толстая Мария Николаевна (1830–1912) – монахиня Казанской женской пустыни в Шамордино с 1891 г., схиму приняла за несколько часов до смерти (см. о ней: Оболенская Е. Моя мать и Лев Николаевич // Л. Н. Толстой. М., 1938. С. 323).
- 42 Ср.: “Он, отрицавший в корне всякие обрядности, и она, строгая монахиня, – молились одному и тому же Богу, понимая и чувствуя Его одинаково” (Толстой И. Л. Некролог // Новое время 1912. 12 апреля № 12960). В октябре 1909 Л. Н. Толстой писал сестре, что надеется смерть “встретить с благодарностью Богу за данную мне жизнь и с полной уверенностью в то, что Бог есть любовь” (Новый мир. 1991. № 7. С. 8).
- 43 Письмо от февраля 1880 г. (Толстой Л. ПСС. Т. 63. С. 6–7).
- 44 Ср.: “Между Толстым и людьми Церкви одновременно существовало и сильнейшее отталкивание, доходившее до взаимной вражды, и вместе с тем безотчетное притяжение, какая-то близость <...> Беспристрастное сознание не может относиться к “еретику” Толстому как к “язычнику и мытарю”, т. е. как к совершенно чужому для Церкви. Даже и отлученный, Толстой остается близок к Церкви, соединяясь с ней какими-то незримыми, подпочвенными связями. <...> И, думается мне, это чувство не приходит в противоречие с духом Церкви и любви церковной” (Булгаков С. Указ соч. С. 408, 410), “Было бы неправильно ставить границы для любви, и если враги духа Толстого все же любят его личность, то это – тем лучше” (Франк С. Указ. соч. С. 545–546).
- 45 Свенцицкий узнал о запрете (“не только молиться, но и думать не должна”) из статьи “Кончина М. Н. Толстой” (Русское слово. 1912. 10 апреля. № 83). Ср.: “Очень тяжелое испытание перенесла тетя Маша, когда старец Иосиф, у которого она была на послушании, запретил ей молиться об умершем брате, отлученном от церкви. Ее непосредственная душа не могла помириться с суровой нетерпимостью церкви, и она одно время была искренно возмущена. <...> Марья Николаевна не смела послушаться духовных отцов, и вместе с тем она чувствовала, что она не исполняет их запрета, потому что она все-таки молится, если не словами, то чувствами. Известно, чем кончился бы у нее этот душевный разлад, если бы о. Иосиф [На самом деле это сделал после его смерти другой духовник. – С.Ч.], очевидно понявший ее нравственную пытку, не разрешил ей молиться о брате, но не иначе как келейно, в одиночестве” (Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969. С. 249–250).
- 46 22 апреля 1911 г. монахиня Мария писала: “Я надеюсь, за любовь его ко Христу и работу над собой, чтоб жить по Евангелию, – Он, милосердный, не оттолкнет его от Себя!” (там же. С. 247).